

Жорж ЛЕФЕВР

ВЕЛИКИЙ СТРАХ 1789 года

G. Lefevre. La Grand peur de 1789. Suivi de Les foules revolutionnaires. Paris, 1988. 272 P.

Реферат составлен **Г. С. Чертковой**

Веб-публикация: Eleonore и редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения ©

Среди множества книг, вышедших к 200-летию начала Великой французской революции, было и переиздание небольшой монографии Жоржа Лефевра «Великий страх 1789 г.» (в переиздании она была дополнена статьей того же автора «Революционная толпа» и снабжена предисловием Ж.Ревеля).

Следует сразу упомянуть о своеобразии научного оформления этой книги: в 1932 г. она вышла в свет (и с тех пор традиционно переиздается) без справочно-библиографического аппарата, лишь с приложением внушительного перечня использованных архивных фондов, печатных коллекций документов и локальных исследований. Решение публиковать столь глубоко фундированное научное исследование без сносок было продиктовано, по собственным словам Лефевра, лишь трудностями, с которыми он встретился при издании. Однако эта огорчительная особенность работы почти не ощущается читателем, как в силу ее обобщающего, «синтетического», по выражению Лефевра, характера, так и благодаря тому, что он сумел насытить ее текст исключительным богатством фактического материала. Доброкачественность этого материала самоочевидна и обеспечивается, помимо всего прочего, научной репутацией автора - к моменту написания этой книги уже маститого ученого, известного глубоким знанием архивов, одного из ведущих специалистов в области истории французской революции, крупнейшего знатока крестьянской Франции.

Изданная более чем полвека назад, работа ничуть не устарела. Это объясняется не только уровнем исследования и мастерством автора, но отчасти и избранной им темой, которая хорошо вписывается в столь актуальную сегодня историю коллективных умонастроений.

Французскому читателю не надо объяснять, что такое «великий страх», для русского же поясним, что речь идет о массовой панике, прокатившейся по большим территориям Франции во второй половине июля и первых числах августа 1789 г. и вызванной убеждением, будто в ближайшем соседстве появились орды разбойников, грабящих и уничтожающих все на своем пути. Само название «великий страх» придумано историками, однако оно вполне соответствует впечатлению, оставленному этими событиями в народном воображении - Лефевр указывает, что еще в середине XIX в. в некоторых французских провинциях 1789 год называли «годом страха».

Необходимо отметить, что в отечественной литературе, особенно учебной и популярной, нередко можно встретить фразы о «великом страхе», который испытали в июле 1789 г. обитатели дворянских замков. Здесь явно смешиваются два отчасти взаимосвязанные, но все же совершенно разные явления: крестьянские антисеньеральные выступления (пугавшие, естественно, сельское дворянство), и собственно «великий страх», главными (хотя и не единственными) жертвами которого оказались как раз крестьяне.

Книга Лефевра состоит из трех больших частей: «Деревня в 1789 г.»; «Заговор аристократов»; «Великий страх».

Рассматривая состояние французской деревни к 1789 г., Лефевр обращает особое внимание на те факторы, которые способствовали состоянию нестабильности, неуверенности и страха у огромного большинства французского населения.

Прежде всего это реальный страх голода, угроза которого неотступно висела не только над нищим городским плебсом, но и над казалось бы более благополучным крестьянским населением. Из-за безземелья и широчайше распространенного малоземелья огромные массы крестьян были почти столь же зависимы от покупного хлеба, как и горожане. При этом цены на хлеб (как и вообще на продовольствие) неизменно росли, а избыток рабочих рук держал заработную плату (особенно поденщиков и сезонных рабочих) на низком уровне. Традиционно большим подспорьем для бедняков были общинные права и деревенское ремесло, расseyанная мануфактура. Но в 70-80-е гг. XVIII в. на первые обрушилась сеньеральная реакция, вторую - подрывала неуклюжая политика правительства. Ухудшению положения сельского населения способствовало и множество других факторов, такие как разорение от воинских отрядов, от дорожных повинностей и т.п. Поэтому малейшие неблагоприятные обстоятельства способны были вызвать кризис, сопровождавшийся нехватками и голодовками, и такие кризисы случались достаточно часто.

Был еще один фактор, способствовавший постоянному состоянию неуверенности и страха. Чудовищное перенаселение порождало нищенство, к которому сельские жители вынуждены были прибегать в массовом порядке, кто постоянно, кто сезонно, а иногда - посылая нищенствовать детей (это не считалось постыдным даже для крестьян, имевших собственное хозяйство, если детей у них было много). Такого рода «местные нищие» были тяжким бременем для остальной части населения, но их еще как-то терпели. Гораздо хуже, что, не в силах прокормиться в своем приходе, многие из них вынуждены были бродяжничать. Массовая безработица в городах и деревнях также выталкивала людей на дороги - они бродили в поисках работы. «Население дорог» увеличивали сезонные перемещения сельскохозяйственных работников - на сбор винограда, на жатву; профессиональные странствия подмастерьев (так называемые *toire de France*); постоянно находившиеся в пути контрабандисты или торговцы контрабандной солью и т.п. Вся эта разнородная масса людей (в которой попадались и уголовники) постоянно стучалась в крестьянские дома, сбивалась в группы, просила и требовала днем и ночью, соскальзывая от просьб к угрозам, от попрошайничества к преступлению, разоряя, озлобляя и пугая «оседлое» сельское население. Особенно возрастали страх и тревога в период, непосредственно предшествовавший сбору урожая: крестьяне опасались за созревший хлеб. Наконец, не редкостью были настоящие преступные банды, истязаниями вымогавшие деньги у более зажиточных хозяев или требовавшие выкуп, угрожая поджогом. Крестьяне защищались как могли и зачастую сами прибегали к насилию. Однако их регулярно разоружали - как по требованию сеньеров, опасавшихся за свою монополию на охоту, так и из страха перед мятежами.

Опасения эти были не напрасны - кризисные годы неизменно сопровождались народными бунтами. Волнения начинались обычно в городах и главным образом на рынках. Зерно и мука либо просто разграблялись, либо насильственно продавались по установленной народом цене. Городской рынок был пунктом неразрывной связи между городом и деревней. Город снабжался там продовольствием, крестьяне же продавали излишки (иногда более чем скромные, вроде одной-двух куриц - это было для многих единственным развлечением) и тоже снабжались продовольствием, главным образом мукой, особенно беднота. Поэтому когда в городе вспыхивали волнения, в них как правило принимали участие сельские жители. Потом они возвращались в деревню и пугали зажиточных крестьян своими рассказами, а нередко становились зачинщиками волнений и у себя.

Городские буржуа опасались этой сельской голытьбы - соучастников действий городского плебса. Но и крестьяне опасались горожан: они сталкивались с угрозами (иногда приводившимися в исполнение - и Лефевр дает тому примеры) заставить крестьян насильственно продать им свой хлеб или добиться у интенданта разрешения на реквизицию. Таким образом, город внушал страх деревне, а деревня городу.

Но и сами крестьяне, восставая, оказывались друг для друга объектом страха. Если деревня «возмутилась», она хотела, чтобы и соседние деревни ее поддержали, требовала этого нередко с угрозами (разграбить, поджечь). В пути отряд-банда останавливался есть и пить - и домогался насильственного угощения. Самый бедный не чувствовал себя при этом в безопасности. Поэтому иногда крестьяне оказывали сопротивление (вплоть до вооруженного) вступлению такого отряда в деревню. Таким образом, любой бунт порождал в душе крестьянина стремление присоединиться - и в то же время опасения. По образному выражению Лефевра, народ внушал страх самому себе.

К тому же, если где-то происходили волнения, то до соседних местностей известия о них нередко доходили в виде слухов о том, что там бесчинствуют орды разбойников.

Впоследствии многие удивлялись, что во время «великого страха» люди так легко поверили в «разбойников». Лефевр показывает, что удивляться тут нечему: слово это жило, и не только в сознании народа. Это внушающее страх слово употребляло направо и налево само правительство, неизменно аттестовавшее «разбойниками» все мятежные и непокорные элементы. (Даже в 1789 г. король оправдывал стягивание войск к возбужденному Парижу необходимостью защиты от «разбойников»). Городские муниципалитеты в официальных документах все происходившие в их городах волнения, особенно если они сопровождались эксцессами, приписывали «пришлым» и «разбойникам». Если вспомнить, что сами крестьяне жили в постоянном страхе перед бродягой, который мог обернуться разбойником, и что огромную роль тут играла коллективная память - воспоминания о Тридцатилетней и других войнах, когда вооруженные люди (свои, чужие, а то и действительно разбойники) предавали деревни насилию и разграблению, то неудивительно, что слухам, и тем более официальным заявлениям о «разбойниках» всегда готовы были верить. Таким образом, любые волнения оказывались своеобразным «фактором страха». И отдельные вспышки страха или тревоги были не такой уж редкостью.

Рожденный голодом бунт легко принимал социальный и политический характер, оборачиваясь против властей, против сеньеров, против налогов. Такого рода волнения происходили постоянно и были свойственны даже самым благополучным царствованиям. Обычно с ними худо-бедно справлялись. Но накануне революции сошлось сразу множество неблагоприятных факторов - от тяжелого неурожая 1788 г. и огромного роста цен до неловкой политики правительства, чьи отчаянные попытки спасти положение парадоксальным образом дали обратный эффект. В результате кризис - экономический, политический, социальный разразился с особой силой. Голодной весной 1789 г. вспыхнули волнения, в обстановке начинавшейся революции быстро принявшие резко выраженный антисеньериальный характер: крестьяне отказывались платить повинности, нарушали все сеньериальные монополии и даже начали кое-где уничтожать сеньериальные документы. Причем особенности политической ситуации привели их к убеждению, будто все их действия такого рода узаконены и соответствуют воле короля. В июле волнения возобновились в значительно больших масштабах. Учитывая, что эти волнения, а также всколыхнувшие всю Францию события 14 июля в Париже пришлись как раз на ту критическую «невралгическую точку» - канун и начало жатвы - когда страхи особенно возрастают, вспышек паники вполне следовало ожидать.

Но что же вывело эти паники за обычные локальные рамки и сделало явлением национального масштаба? Понять это, по мнению Лефевра, поможет сопоставление с более или менее аналогичными событиями, происходившими как до, так и после Французской революции. И он описывает две крупные паники, одна из которых относится к 1703 г., а вторая - к 1848 г. В первом случае причина была реальной - во время восстания камизаров отряд протестантов человек в 150 проник не слишком глубоко на «католическую» территорию, кормясь за счет местного населения, и сжег по дороге несколько церквей. Это происшествие породило массовую панику, которая с чрезвычайной быстротой охватила непропорционально огромные районы на юге Франции и внешние проявления которой очень похожи на «великий страх»: бьют в набат, вооружаются, немедленно посылают уведомить и просить о помощи соседние деревни; отряды, посылаемые на помощь, принимаются за неприятеля и тут же все соседи извещаются, что «разбойники уже здесь» и т.п. Масштабам и распространению паники способствовало убеждение, что, во-первых, протестанты взяли за оружие не для защиты, а для нападения на католиков, и во-вторых, что они действовали при поддержке иностранных держав, с которыми Франция в то время воевала.

Около полутора веков спустя, после революции 1843 г. (и особенно после парижского июньского восстания), в провинции, не без помощи пропаганды со стороны правящих классов, распространилось тревожное убеждение, что мятежные парижские рабочие-«уравнители» скоро явятся в деревни конфисковывать у крестьян землю и зерно. В этой обстановке возникло несколько крупных волн паник, одну из которых Лефевр подробно описывает: возникнув (в отличие от событий 1703 г.) по совершенно смехотворному поводу, она с чрезвычайной быстротой охватила всю Нормандию, возрастая в масштабах по мере распространения. И здесь, как в 1703 г., помимо общего чувства неуверенности, порожденного экономической и политической нестабильностью, в основе паники лежало представление о существовании партии или общественного класса, которые угрожают жизни и имуществу большинства нации, возможно, опираясь при этом на иностранную помощь. Именно это придавало местным тревогам их эмоциональную силу и заразительность, способность к быстрому распространению.

То же произошло и в 1789 г. В самом деле, в той ситуации местные вспышки страха были бы, повторим, вполне естественны; но, как и в описанных выше случаях, в дело вступили мощные «усилители», которые и вывели панику далеко за локальные пределы: общее беспокойство, распространившееся в провинции после восстания 14 июля и особенно - глубокое убеждение третьего сословия в том, что ему угрожает заговор со стороны аристократов.

Возникновению и распространению этого убеждения, сыгравшего столь важную роль в истории «великого страха», Лефевр посвящает вторую часть своей работы. Оно возникло еще в связи с острой борьбой вокруг созыва Генеральных Штатов, питаясь подспудной уверенностью в том, что представители привилегированных сословий не смирятся с утратой главенствующего положения, с угрозой своим правам и преимуществам и захотят взять реванш, отомстить, «уничтожить третье сословие». Эти опасения были не беспочвенны, хотя несомненно, что третье сословие сильно преувеличивало и силы, и решимость, и умение своих противников. Однако для того, чтобы объяснить истоки «великого страха», важнее понять, какое представление создалось о возможностях и планах аристократии, нежели выяснить, насколько это представление соответствовало действительности.

Доказательством существования заговора стала в глазах народа и начавшаяся эмиграция. В те июльские дни она была еще достаточно скромной, но слухи ее преувеличивали. Эмигрировали первые люди королевства, увозя с собой крупные суммы. Можно ли было предположить, что за границей они будут жить спокойно, не захотят вернуться во главе армии наемников и отомстить?

Так, уже в июле 1789 г., зарождалась идея сговора аристократии с заграницей, сыгравшая такую роль в истории революции. Но если эмигрировавшие принцы собираются использовать иностранных «разбойников», отчего бы им не привлечь к себе и местных? Так давний страх перед разбойниками начинает сливаться со страхом перед аристократами. И именно в критической ситуации второй половины июля произошло резкое соединение всех бесчисленных причин и поводов для тревоги, терзавших страну, с идеей аристократического заговора - это слияние и оказалось основной причиной «великого страха».

Идея «разбойников на службе у аристократии», в силу ряда обстоятельств, зародилась в Париже и оттуда распространилась по стране.

Новости «путешествовали» тогда на лошадях, главным образом почтовыми каретами. Крупные города, стоявшие на больших путях, получали известия из столицы каждые три дня, иногда - от 3 до 4 раз в неделю. Небольшие и малые города получали известия еще медленнее (тут Лефевр приводит множество примеров). Частные лица при необходимости передать сведения на небольшое расстояние (или получить их), часто посылали своих слуг с известием - и именно таким путем в значительной мере «путешествовал» великий страх.

Что касается парижской прессы, то она была очень слабо распространена в провинции, даже в крупных городах. В этих условиях главным источником информации оказывались письма (частные или официальные) и рассказы путешественников. Естественно, что все эти источники недостаточно точны и нередко передают слухи, сплошь и рядом совершенно фантастические.

Еще хуже обстояло дело с информацией сельского населения. За небольшими исключениями, информация шла путем устной передачи сведений: чаще всего получали ее на городских рынках. Когда доходили слухи об особо крупных событиях, крестьяне посылали специального представителя в город за сведениями.

Таким образом, в целом источники информации были несовершенны и неоперативны, в значительной мере носили устный характер и были в высшей степени подвержены приятию и распространению всяких слухов. Поскольку не было никакой возможности проверить известия, они производили впечатление даже на самых разумных и уравновешенных.

Слухи из Парижа и Версаля о «заговоре аристократов» нашли в провинции подготовленную почву. Так обстояло дело даже в крупных городах, но особенно в малых, где дворяне значительно больше на виду и где они особенно держатся за свой статус и почетные привилегии - а потому уж вовсе невозможно было поверить, что откажутся от них без борьбы (сами дворяне нередко давали повод для таких предположений, позволяя себе резкие высказывания, которые молва раздувала и преувеличивала).

Бурные события 14 июля и нескольких предшествующих дней, сопряженные с недостаточной информацией о том, что произошло на самом деле, произвели сильнейшее впечатление в стране. По городам прокатились волнения - люди забирали оружие, ставили ночные караулы и т.п.; но главным образом - повсеместно создавали национальную гвардию.

Из городов слухи о «заговоре аристократов» распространились по деревням. Сам факт, что крупные и мелкие города вооружались, подтверждал в глазах крестьян существование заговора; они тоже стали создавать национальную гвардию, иногда прямо побуждаемые к тому активными представителями третьего сословия городов, но чаще действуя самостоятельно. Причина их веры в заговор - не только вести из Парижа и Версаля. Увидев еще в обращении короля о созыве Генеральных Штатов освобождение от своих тягот (или обещание такового), крестьяне были уверены, что сеньеры не смирятся. Свою роль играла историческая память - все прежние восстания были потоплены в крови. Крестьяне жили в тени замка, как парижане в тени Бастилии, даже если эти замки давно были мирными. Уверенные, что аристократы поклялись погубить третье сословие, крестьяне, не ограничиваясь помощью городским буржуа, восставали против самого феодального режима, добиваясь отмены всех повинностей, уничтожения описей, сожжения архивов (а иногда грома и замки).

В истории «великого страха» особую роль сыграли вооруженные выступления в норманском Бокаже, Франш-Конте, Эльзасе, Эно и Маконнэ. Волнения во Франш-Конте и Маконнэ были прямыми причинами паник. Опираясь на документы, Лефевр прослеживает ход событий в этих районах. В целом они повсюду развивались по общей схеме. Собравшись отрядом, крестьяне шли в замок или монастырь и требовали от сеньера, светского или духовного, письменного отказа от сеньериальных прав; часто, не ограничиваясь этим, требовали выдать архивы, особенно описи и тут же их сжигали, если же они были помещены у нотариуса - нередко совершали поход в ближайший город.

На юге Франш-Конте уже начинался «великий страх» - восставших принимали за «разбойников». «Разбойниками» неизменно называли их и власти.

Однако позднейшие расследования показали, что акты прямого насилия были чрезвычайно редки и связаны либо с особой ненавистью к данному сеньору, либо с попытками сопротивления. Практически не было и грабежей. Конечно, при разгроме замка кто-то не мог устоять перед искушением взять понравившуюся вещицу (иногда совершенно не имеющую ценности). Конечно, часто требовали денег, «выкупа», но объясняется это просто: прежняя уверенность крестьян в том, что их действия соответствуют намерениям короля, превратились к июлю к глубочайшую убежденность (и Лефевр иллюстрирует ее множеством фактов), что такого рода письменные распоряжения короля и Соборы уже существуют, но скрываются аристократами и юре, и что «сокрытие» - часть «заговора». Но коль скоро крестьяне действуют не по своему произволу, а по приказу короля, как бы находясь на королевской службе, не могут же они даром тратить на это рабочий день! Конечно, они также требовали еды и питья, но не воздухом же целый день питаться! Однако собрались они все же вовсе не для того, чтобы пограбить; перед ними стояла задача разрушить прежние порядки и они добросовестно ее выполняли. Речь шла об освобождении от непосильного бремени - феодальных повинностей, косвенных налогов, десятин.

Другой явный двигатель - желание отомстить за прошлые обиды. Крестьяне требуют возврата отнятых земель, уплаченных штрафов, уничтожают бумаги сеньериальной юстиции, прогоняют ее агентов и т.п. К этому добавляется стремление наказать привилегированных за их сопротивление третьему сословию - и именно с этим обычно связаны случавшиеся разгромы их жилищ, иногда очень методично осуществляемые. Это вовсе не были акты коллективного безумия, как нередко думают - такой способ наказания применялся крестьянами и до, и после того.

Но была и еще одна чрезвычайно любопытная черта, тонко подмеченная Лефевром (в частности, в документах, касающихся событий в Маконнэ): крестьянами руководила не только ненависть. В их последующих рассказах явственно проступает отношение к этому событию как к своего рода празднеству, простодушное удовольствие от столь хорошо проведенного времени. Чувствуется, что они рады были на время оставить плуг, заступ или молот, чтобы отдохнуть денек и в большой компании отправиться в замок почти как на ярмарку. Это было редкостное, из ряда вон выходящее событие и интересно было не только принять в нем участие, но даже просто посмотреть.

Вся деревня приходит в движение, во главе идут синдик и местные нотабли, иногда с барабанным боем; кое у кого - ружья, но главным образом в виде вооружения фигурируют сельскохозяйственные орудия и палки; особенно много среди собравшихся молодых людей. Толпа кричит во все горло «Да здравствует третье сословие!» Придя в замок или аббатство, начинают всегда с того, что требуют еду и особенно питье. Иногда спрашивают тонкие вина из погребов или омлет или ветчину, но гораздо чаще довольствуются хлебом и простым вином, бочку которого выкатывают и открывают. Иногда ловят голубей с голубятни сеньера и жарят их. Если сеньер у себя и соглашается подписать отречение, обычно все кончается довольно мирно. Когда его нет, дело может обернуться плохо, особенно если время уже позднее, а собравшиеся хорошо выпили. Но нередко соглашаются подождать, пока отвезут сеньеру документ на подпись. К угрозам, а иногда и насильственным актам, примешиваются смех и грубые шутки.

Никогда не происходит ни малейших покушений на женщин и, как правило, - никакого кровопролития.

Эти волнения - скорее часть истории уничтожения феодальных прав и десятины, чем собственно «великого страха»; но они имеют прямое отношение и к последнему. С одной стороны, они тесно связаны с идеей «заговора аристократов», без которой «великий страх» вообще едва ли понятен, с другой - в ряде районов они были прямой его причиной. При этом важно подчеркнуть, что описанные выше волнения происходили обычно *до того*, как в эти районы пришел «великий страх». Это показывает, что вопреки достаточно распространенному мнению, для того, чтобы поднять крестьян, «страх» был не обязателен: когда он пришел, они уже поднялись.

Что касается роли городских волнений, то наиболее важным их следствием было распространение, сразу после 14 июля, слуха, что, поскольку городские муниципалитеты принимают меры безопасности, «разбойники» (которым, разумеется, приписывались все произошедшие эксцессы), бегут в провинции. Этот слух сыграл большую роль в распространении «великого страха» - впоследствии говорили даже, что его распространили нарочно.

Поскольку разбойников ждали, малейшее происшествие, малейший повод приводили к тому, что их «видели». Обычно видят их наиболее впечатлительные люди, когда несут дозор в одиночку или чувствуют себя в опасности: достаточно появления подозрительного бродяги, поднятой проходящим стадом тучи пыли, отблеска костра углежогов или отражения заката в окнах («пожар! поджог!»), чтобы совершенно искренне «увидеть» или «услышать» неприятельский отряд (особенно часто это случалось ночью или к ночи). Далее действует механизм самовнушения. Поднимается тревога, которая сама способствует распространению паники. Лефевр описывает ряд характерных случаев, в которых видны по крайней мере две свойственные им всем общие черты: несоразмерность масштабов паники породившим ее причинам, даже если они были не мнимы, а реальны (к примеру, стычка крестьян со служащими застав), а также глубокое убеждение жителей, что они подверглись нашествию разбойников (а нередко, если географическое положение тому способствовало, и иностранцев).

Но так или иначе, в народном представлении страх перед разбойниками и страх перед аристократами все время были связаны - этот синтез, начавшийся в Париже, распространился по стране. Все третье сословие чувствует себя под угрозой этих мятежных орд, находящихся на жалованье эмигрантов и привилегированных сословий.

Последнюю, третью часть своей работы Лефевр посвящает непосредственному рассмотрению самого феномена «великого страха». Его бросающейся в глаза особенностью, отличием от прежних локальных паник, было то, что он охватил огромные территории и передвигался очень быстро. Это породило представление, что страх был повсеместен и вспыхнул повсюду одновременно. И то, и другое, как подчеркивает Лефевр, - заблуждение; но это ошибочное мнение повторяли уже современники, а потом и историки. Отсюда возникла идея заговора (не путать с «заговором аристократов» - на этот раз речь шла о сознательном и умышленном возбуждении «великого страха»), в котором представители враждующих лагерей обвиняли то друг друга, то честолюбивого главу младшей ветви королевского дома герцога Орлеанского. Живучесть этой версии заставила Лефевра неоднократно рассматривать разные ее аспекты по ходу своей работы, и он не оставляет от нее камня на камне. (Именно благодаря работе Лефевра версия эта выглядит сегодня совершенно архаичной и уже не встречается в серьезных исследованиях).

Аргументация Лефевра идет по нескольким основным линиям: прежде всего он показывает абсолютно естественный характер возникновения и распространения паник, т.е. ненужность версии заговора для объяснения причин «великого страха»; он выявляет случайный, непредсказуемый и крайне разрозненный характер инцидентов, служивших толчками для волн страха, что исключает идею предварительного замысла и специальной организации; он указывает на то, что события «великого страха» не были выгодны (по разным причинам) ни одной из враждующих «партий»; наконец, он особо подчеркивает, что не существует никаких документальных доказательств какого бы то ни было заговора и, напротив, во всех тех случаях, когда документальные свидетельства сохранились, они доказывают его отсутствие.

Лефевр считает важным не смешивать четыре разные, хотя и связанные между собой явления: страх перед разбойниками и аристократами, крестьянский бунт, вооружение народа и «великий страх». Смешение «великого страха» с «обычным» страхом перед разбойниками (и уверенность, что он идет из Парижа) ввело в заблуждение множество историков. Но одно дело - верить, что разбойники *могут* прийти и бояться их прихода, другое - верить, что они уже пришли, что их видели и слышали (именно здесь - граница между этими двумя страхами). «Великий страх» не был повсеместным, повсеместным был страх перед разбойниками. Ряд крупных районов не был охвачен «великим страхом» или же лишь слегка им задет. Неверно и то, что всюду он вспыхнул одновременно. Страх передвигался, причем не так быстро, как думают. Лефевр делает подсчеты на нескольких примерах; получается, что в среднем страх распространялся со скоростью 4 км в час. Само по себе это достаточно быстро, но слишком медленно, если верить, будто его распространяли специально посланные курьеры. Тезис о «таинственных курьерах» не выдерживает и столкновения с документами - в ряде случаев они позволяют установить разносчиков слухов и в этих людях нет ничего таинственного или странного.

Наконец, как уже отмечалось, «великий страх» никому не послужил: ни аристократам, против которых в конечном счете обернулся, ни третьему сословию; не он вызвал вооружение народа и народные волнения (и того, и другого, кстати говоря, не так уж и хотела - или вовсе не хотела - городская буржуазия) - они уже шли, он их лишь усилил. Чтобы показать, сколь сложной и не прямой была связь между аграрными бунтами и «великим страхом», достаточно (и очень важно) подчеркнуть, что именно там, где произошли особенно бурные крестьянские волнения (во Франш-Конте, Эльзасе, Норманском бокаже, Маконне) - «великого страха» не было; но при этом в соседствующих местностях «эхо» этих бурных волнений могло вызвать «великий страх» (от волнений во Франш-Конте пошла крупная волна страха на востоке Франции), а могло и не вызвать (волнения в Бокаже, Эно, Эльзасе не породили «великого страха»).

Основными волнами страха были: западная (Мож и Пуату); мэнская; клермонско-суассонская; южно-шампанская; восточная и юго-восточная; юго-западная. Почти все они в той или иной степени задевали и центральные районы. Лефевр считает важным установить происхождение этих волн, или то, что он называет «первоначальными паниками». В ряде случаев документы позволяют это сделать - точно или с большой долей вероятности. Рассматривая причины этих «первоначальных паник», Лефевр приходит к выводу, что они по существу ничем не отличались от тех, которые порождали предыдущие тревоги, - это главным образом местные инциденты на почве экономических трудностей и продовольственных нехваток, иногда связанные и с противостоянием города и деревни. Но если прежде страх оставался локальным, то теперь, в описанной выше накаленной обстановке, казалось естественным для защиты от «разбойников-наймитов аристократии» воззвать к национальной солидарности - к приход, в котором зародилась тревога, тут же посылал во все концы за помощью. А те, к кому обращались за помощью, в той обстановке ни минуты не сомневались в ее реальной необходимости.

Распространителями паники нередко оказывались частные лица: одни хотели выполнить гражданский долг; другие предупреждали об опасности родных и друзей; путешественники (а также почтовые курьеры, которым иногда это специально поручали) рассказывали об увиденном и услышанном; беглецы из «угрожаемых» мест с сильными преувеличениями (чтобы не быть заподозренными в трусости) рассказывали об опасностях. Но весть распространяли и лица, занимающие определенное общественное положение, и представители администрации. Кюре часто считали долгом не только бить в набат, но и тут же извещать коллег в соседних приходах. Дворяне и их управители извещали знакомых-дворян (иногда посланные ими с этой целью слуги сообщали новость в деревнях, через которые проезжали и где их не знали - это один из источников слухов о «таинственных курьерах», распространявших «великий страх»).

Особенно любопытна роль официальных властей. Конечно, многие пытались навести справки, проверить известие, посылая специальных людей; но при этом понимали, что на настоящую проверку уйдет много времени. Поэтому они считали разумным принять меры предосторожности и запросить помощь, а в ряде случаев - предупредить соседние деревни или города. Впрочем, среди лиц, занимавших определенное общественное положение, встречались и недоверчивые, критически настроенные. Некоторые из них твердо препятствовали распространению слухов, отказывались бить в набат и т.п. Однако большинство все же принимало на всякий случай меры предосторожности - во-первых, из осмотрительности (слухи могли оказаться и правдивыми), а, во-вторых, из благоразумия: те, кто сопротивлялся принятию мер, мог быть заподозрен в отсутствии патриотизма и далее подвергаться реальной физической опасности.

Тем не менее возможно, что в тех районах, где не было или почти не было «великого страха» (как, например, в Бретани), большую роль сыграла позиция епископов. Но в большинстве случаев, когда паника начиналась, никто не осмеливался противостоять потоку.

Сообщение о том, что разбойники уже гонимы, вызвало как правило общую панику. Так из небольшого количества «первоначальных» паник возникло множество других, которые Лефевр называет «паниками в результате извещения». Они описаны многократно, начиная с набата, который часами раздается над целыми кантонами, перекидываясь с одного на другой. Женщины, в своем воображении уже переживающие сцены насилий и грабежей, рыдают и вопят, хватают детей и первое попавшееся под руку имущество и бегут в леса или по дорогам. Некоторые мужчины, выгнав скот в поля, следуют за ними. Но большинство остается (тут играют роль и чувство собственного достоинства, и храбрость, и страх перед властями), объединяются по призыву синдика, кюре или сеньера и начинают готовиться к обороне. Вооружаются кто чем может, расставляют часовых, баррикадируют вход в деревню или мост, посылают группы разведчиков. С наступлением ночи ходят патрули и все остаются начеку. В городах происходит подлинная мобилизация - можно подумать, что город в осаде. Проводятся реквизиции продовольствия, сборы пороха и боеприпасов. Срочно подправляют укрепления, размещают артиллерию. Кюре дают массовые отпущения грехов, люди прощаются друг с другом.

Сохранилось множество живописных рассказов. Лефевр приводит один из них, Жана Луи Баржа, бывшего солдата, из Лавалле близ Сент-Этьенна, очень ярко и не без юмора описывающего, как после слез, драматических расставаний, колебаний, страха и случаев временного дезертирства, отряд крестьян выступил на выручку соседнему городу, где, как оказалось, паника уже кончилась и все завершилось общим весельем. Этот рассказ Лефевр считает очень характерным - такое происходило повсеместно. По существу эти события не вполне точно называют «великим страхом» - не в меньшей мере они характеризуются пробудившимся стремлением побороть опасность и горячим чувством солидарности.

Ряд «вторичных» паник возбуждался с помощью особых «передаточных механизмов» (такие паники, по мнению Лефевра, не следует путать с «паниками по извещению»). Классический пример действия такого «механизма» - неоднократные случаи, когда крестьянские отряды, выступавшие против «разбойников», сами бывали приняты за разбойников и порождали следующую волну паники.

Какие же пути избирал «великий страх»?

Их изучение прежде всего опровергает предвзятое представление о распространении «великого страха» из Парижа: никаких идущих от столицы «концентрических кругов» страха; никакого следования паники по крупным дорогам или «естественным путям» (вроде долины Луары). Только две волны страха задели Париж, и обе шли не от него, а к нему. Второе, что бросается в глаза, это отсутствие «географических закономерностей». Где-то «волны» идут по долинам рек, где-то их пересекают, а где-то совершенно не затрагивают. Горы в ряде случаев вовсе не становятся препятствием. Можно было бы думать, что «страх» распространяется иначе в районах густозаселенных и в районах с редким населением - на деле ничего подобного не происходит.

Это объясняется происхождением и способом распространения паник. Встревоженное население просит помощи у ближайшего города или считает долгом предупредить прилегающий район: естественные преграды лишь в крайнем случае останавливают этот порыв. С другой стороны, распространение страха носит прерывистый характер - идет от муниципалитета к муниципалитету, от сеньера к сеньеру, от кюре к кюре, а не непрерывным образом, не от жилища к жилищу или от одного населенного пункта к другому. Власти, получив предупреждение, приказывают бить в набат, и он достаточно быстро собирает и жителей густонаселенных деревень, и разрозненное население некоторых бокажей.

Тем не менее, эту несвязанность с географическим фактором не следует преувеличивать. Волна страха могла следовать и по традиционному и устоявшемуся пути. Иногда на горах «страх» все же несколько «выдыхался». Наконец, некоторые довольно пустынные районы остались им не затронутыми, и это тоже естественно - от них трудно было ждать серьезной помощи и туда за ней не посылали.

Далее Лефевр детально прослеживает пути основных волн (или, как он их называет, «течений») страха. Он показывает, как паники встречаются, перекрещиваются, подпитываются местными событиями, дают ответвления, иногда сливаются друг с другом. В то же время какие-то течения не сталкиваются и разделены зонами спокойствия, хотя, казалось, могли бы встретиться - страх приходил и из более отдаленных мест. Лефевр прослеживает движение «волн» не только по дням, но и буквально по часам (напомним, это последняя декада июля и первая неделя августа).

Особенностью этого раздела, озаглавленного «Волны страха», является то, что его практически невозможно читать без карты. Лефевр, разумеется, такую карту прилагает - и все же не случайно, что единственным косвенным упреком, который высказал ему [Люсьен Февр в восторженной рецензии](#) на его книгу¹, было пожелание, чтобы при ее переиздании карта была сделана более подробной и усовершенствованной, включая детали рельефа. (Хотя в издании 1988 г. это несколько «идеалистическое» пожелание Февра учтено не было, книга дополнена очень четкой картой-схемой, взятой из работы М.Вовеля «Падение монархии» и позволяющей наглядно увидеть границы зон, охваченных и не охваченных «великим страхом», а также эпицентры крупных паник). Пересказывать эту часть текста, полностью построенную на перечислении населенных пунктов (зачастую мелких и мельчайших), было бы бессмысленно, и мы от этого воздержимся.

Страх перед разбойниками, объединивший все страхи и тревоги и спровоцировавший «великий страх», отнюдь не исчезал, когда становилось ясно, что разбойники не появлялись. В самом деле, те факторы, которые делали возможность их появления правдоподобной, продолжали существовать, и в недели, следовавшие за «великим страхом», было множество тревог. Некоторые из них даже грозили образовать новую «волну». Все же они остались на уровне локальных событий, отчасти потому, что июльский опыт уменьшил доверчивость (муниципалитеты и разного рода официальные лица кое-где препятствовали теперь попыткам бить в набат), отчасти же потому, что сбор урожая закончился.

Тревога возобновилась при приближении урожая 1790 г. - что лишний раз подчеркивает важность этого фактора в подготовке «великого страха». Возник ряд крупных паник, связанных со слухами об уничтожении урожая. По крайней мере две из них были вызваны и еще одним уже известным нам фактором - страхом, который внушали маневры аристократии.

В 1791 г. снова были вспышки страха (в том числе в связи с бегством короля), в 1792 г. - в связи с событиями 10 августа (штурмом Тюильри и падением королевской власти). По крайней мере две крупные паники засвидетельствованы и в 1793 г. Таким образом, страхи продолжались, пока революция была в опасности.

Каковы же были последствия «великого страха»? Лефевр снова подчеркивает, что, вопреки сложившемуся мнению, не он вызвал вооружение народа и спровоцировал крестьянские волнения. Тем не менее, несомненно, что в ряде случаев он ускорил или придал размах первому из этих явлений, и по крайней мере однажды послужил толчком для второго: имеется в виду «жакерия» в Дофине, возникшая уже после вспышки «страха», в результате подозрений, что дворяне возбудили панику нарочно.

Особое значение «великий страх» имел для деревни, где он в конечном счете обернулся против дворянства и духовенства - прежде всего в общем настроении умов, которое сплошь и рядом прорывалось в прямых актах враждебности. Сельские дворяне не могли чувствовать себя в безопасности и были изрядно терроризированы.

Не менее важно и другое. Даже если во время паники многие люди думали лишь о бегстве и спасении, то в целом она все же породила мощный и воинственный порыв, в ходе которого с необычайной яркостью выявилось и укрепилось чувство национального единства. Объединившись для защиты и помощи соседям, крестьяне почувствовали свою силу и это увеличило тот натиск, которому суждено было окончательно разрушить сеньериальный режим. «Таким образом, - заключает свою книгу Лефевр, - великий страх заслуживает внимания не только в силу своей необычности и яркого своеобразия: он содействовал подготовке ночи 4 августа (заседания Учредительного собрания, на котором были отменены феодальные привилегии - Г.Ч.) и тем самым оказался одним из важнейших эпизодов нашей национальной истории» (с. 232).

Революционная толпа

В реферируемое издание включена статья Лефевра о революционной толпе, тесно примыкающая по своему характеру к работе о «великом страхе» и написанная почти одновременно с ней.

Многие авторы, пишет Лефевр, понимают под революционной толпой добровольное объединение людей, одушевленных одним чувством и одним намерением. Однако факты показывают, что революционные толпы собирались и случайно, поначалу без всяких намерений или даже не с теми намерениями, которые впоследствии осуществляли. Для того, чтобы разобраться в этом, надо сначала понять, что же такое толпа вообще.

Толпа в чистом виде - это случайное скопление людей, простой людской конгломерат, в котором каждый существует сам по себе. Такого рода толпа может образоваться, например, на вокзале при отходе поезда и т.п. В подобной толпе дезинтегрируются все социальные группы, человек анонимен, и это порождает у одних чувство свободы, у других - ощущение страха и неуверенности.

Между такой толпой и сознательным, добровольным собранием людей существует множество промежуточных форм, которые можно назвать полудобровольными. К примеру, в сельской жизни большую роль играли воскресные мессы и собрания крестьян после них (или на местных рынках); в городах - очереди у дверей булочных, те же рынки и др. Во всех этих случаях собрания не носили преднамеренного характера, люди шли туда по своим делам, а не для того, чтобы собраться (хотя предвидели, что окажутся в гуще людей, а иногда и хотели этого). Но в определенных условиях и при достаточно сильном толчке такое полудобровольное стечение народа может превратиться в сознательное объединение, даже стать мятежным сборищем.

Из сказанного о толпе как о простом людском конгломерате явствует, что ее свойство - отсутствие коллективной ментальности. Однако такое отсутствие относительно. Как сугубо биологическое явление, лишенное всякой ментальности, толпа в человеческом обществе не существует. Хотя индивид в толпе вырван из своих обычных социальных связей, он не свободен от ментальности, свойственной его социальной группе (или группам - не забудем, что чаще всего он входит, разными сторонами своей жизни, не в одну группу) - просто эти чувства и понятия временно оттесняются на задний план. Нередко он становится при этом восприимчивее к ментальности более широкой группы, и достаточно какому-то событию вывести элементы этой ментальности на первый план сознания, чтобы у людей внезапно возникло живейшее чувство солидарности друг с другом (так часто случается, например, в очередях у булочных в период нехваток и т.п.). Внезапное пробуждение группового сознания под влиянием сильного чувства или впечатления придает скоплению людей новое качество, которое можно назвать «состоянием толпы».

Так, по мнению Лефевра, происходит превращение и в революционную толпу - для этого необходимо и достаточно, чтобы предварительно в обществе уже сформировалась коллективная революционная ментальность и чтобы какое-то событие вывело ее на первый план сознания, с которого она была временно отеснена соображениями, вызвавшими образование людского скопления. Такое изменив обычно происходит резким скачком - Лефевр употребляет термин «внезапная мутация».

Разумеется, формирование коллективной революционной ментальности предполагает определенные социальные, экономические и политические условия - в разных случаях различные. Разумеется, ее черты складываются поначалу в индивидуальных сознаниях, с разной скоростью. Но для того, чтобы она стала действительно коллективной, необходим процесс определенного «интерментального» взаимодействия. Он происходит прежде всего в разговорах и беседах - особенно это относится к эпохам преимущественно устной культуры. Не следует думать, пишет Лефевр, что коллективная революционная ментальность складывается накануне революции - ее зарождение уходит корнями глубоко в историю (отдельными чертами, например, - к крестьянским жакериям и еще глубже, воспроизводясь через механизм исторической памяти, действующей иногда на уровне не только словесном, но и эмоциональном). Конечно, революционное брожение резко ее усиливает. Революционная ментальность складывается также путем устной, письменной, а позднее и печатной пропаганды. Наконец, она развивается и в силу того давления, которое коллектив оказывает на индивида - прежде всего морального, но также иногда экономического и физического.

Лефевр считает, что помимо изучения таких факторов общественной жизни, как экономика, политика, социальная сфера, авторы исторических исследований должны стремиться реконструировать и коллективную ментальность. Историки, пишет Лефевр (и для его времени это было совершенно верно), «охотнее изучают условия экономической, социальной и политической жизни, находившиеся, по их мнению, у истоков революционного движения, а с другой стороны - события, которыми было отмечено само это движение и результаты, которых оно достигло. Но между этими причинами и этими следствиями лежит еще и формирование коллективной ментальности: именно она устанавливает подлинную причинную связь, и, можно сказать, единственно и позволяет понять по-настоящему *следствие*, поскольку оно иногда кажется совершенно несоразмерным *причине*, в том ее виде, как это слишком часто формулируют историки» (с.245-246). И Лефевр показывает на примерах, как многие черты революционной ментальности проявлялись во время французской революции.

Важно также помнить, что революционная ментальность имеет свою эмоциональную и моральную стороны. Наиболее характерными из связанных с нею чувств Лефевр считает тревогу и надежду - это очень ярко проявилось, в частности, и во время «великого страха». Эмоциональные стороны коллективной ментальности позволяют понять ту тенденцию к действию, которая отличает революционную толпу от простого скопления людей. Во время революции, когда люди собираются намеренно (например, чтобы отметить революционный праздник), «состояние толпы» возникает сразу, без вмешательства какого-либо внешнего события и без резкого скачка. Это «состояние» в данном случае само как бы и является актом - толпа собирается уже с намерением осуществить какое-то действие (в конечном счете - способствовать возникновению нового общества). Когда же необходим и происходит «резкий скачок», он также всегда связан со стремлением к действию, оборонительному или наступательному.

Наконец, замечает Лефевр, в общественном мнении революционная ментальность и революционная толпа обычно связаны с представлением о разрушительных силах, с понятием разрушения - будь то в прямом или в более сложном значении слова (разрушение авторитетов, старых институтов). Но как раз «высшей форме» революционной толпы, сознательному и добровольному стечению людей, свойственна и определенная созидательная деятельность (она создает новые формы организации, новых руководителей и т.п.). Эффективность этой «творческой деятельности» революционной толпы во многом зависит от интенсивности и глубины коллективных представлений (к примеру, связывают ли люди происхождение своих бед с действиями местных притеснителей или с центральной властью, с «дурными законами» - в последнем случае они могут повлиять на важные стороны жизни в государственном масштабе, как это было в 1793 г.); она зависит также и от территориального размаха движения.

Лефевр касается также сложных вопросов взаимодействия между толпой и составляющими ее индивидами, отмечая, что толпа одной своей массой увлекает человека, подавляет волю к сопротивлению, создает ощущение коллективной силы, подталкивая тем самым к действию и к дерзости, уничтожая или ослабляя чувство опасности и личной ответственности. Говоря о поведении человека в толпе, нельзя исключать и роли «заражения друг от друга», своего рода стадного, во всяком случае подражательного инстинкта.

Лефевр считает, что между теориями медика Г.Лебона, видевшего в толпе сугубо животное начало, «отключение интеллекта», действия на уровне инстинктов, и взглядами тех, кто считает толпу суммой отдельных личностей, он сам занимает по существу промежуточную позицию, ибо оба эти взгляда не учитывают существования коллективной ментальности.

Книга Лефевра снабжена предисловием известного современного французского историка Жака Ревеля. Ревель констатирует, что работа Лефевра давно признана классической и это суждение, став привычным, заставляет забыть, что в свое время она носила новаторский и экспериментальный характер. По выходе в свет ее ждал скорее теплый, чем восторженный прием и как раз новаторская сторона работы не была оценена и даже замечена многими коллегами автора. Исключение составлял Марк Блок, опубликовавший рецензию, которая показывала, что для него в центре работы Лефевра было исследование коллективного поведения². Блок особенно выделил родственное ему самому стремление писать историю убеждений и верований как сочленение психологического и социального.

Этот новаторский подход позволил Лефевру внести огромный вклад в историографию французской революции и историографию вообще. Ревель подчеркивает три основных момента: заслуги Лефевра в изучении собственно «великого страха»; его вклад в изучение проблемы толпы, ее роли в истории, особенно в истории революции; наконец, вклад Лефевра в изучение проблем ментальности, в первую очередь революционной ментальности.

Лефевр был первым историком, монографически исследовавшим «великий страх» на общенациональном уровне и показавшим те возможности, которые таит в себе изучение такого рода событий. До того «великий страх» считался живописным, но случайным и второстепенным эпизодом французской революции и не привлекал к себе внимания крупных французских историков. Единственное исключение - И.Тэн, который, как известно, резко отрицательно относился к выступлениям и действиям толпы, видя в ней лишь носительницу разрушительного и животного начала. Эта концепция была воспринята и развита Г.Лебоном, автором первой специальной монографии о толпе («Психология толпы»), вышедшей в 1895 г. Концепции Тэна и Лебона оказали большое и долговременное влияние и на французскую историографию, и на читающую публику. Однако оба они руководствовались скорее политическими пристрастиями и стремлением применить в исторической науке методы и подходы наук естественных, нежели глубоким знанием фактической стороны дела (особенно это относится к Лебону, который, не будучи профессиональным историком, попросту оперировал данными Тэна). Этим авторам Лефевр противопоставил прежде всего всеобъемлющее и глубокое владение документальным материалом, знание социальных и экономических реалий, ибо - и Ревель справедливо подчеркивает это - Лефевр, автор фундаментального труда о крестьянах департамента Нор во время революции, оставался прежде всего специалистом в области социальной и экономической истории. Но в разработке этой темы есть у него и теоретические предшественники. Это прежде всего Жорес (чьи взгляды просвечивают в утверждении Лефевра, что страх и надежда составляют эмоциональную сердцевину революционной ментальности), а также Дюркгейм (его воздействие угадывается, в частности, в той попытке осуществить систематическую «типологию революционной толпы», которую предпринял Лефевр).

Говоря о вкладе Лефевра в изучение истории ментальности, Ревель отмечает, что пионерскими работами считаются здесь «Короли-целители» Блока и «Мартин Лютер» Февра; но к ним было бы справедливо прибавить и «Великий страх» до такой степени Лефевр, рассказывая о событиях лета 1789 г., стремился понять верования и убеждения, страхи и поступки людей в их контексте и взаимосвязи. Он не довольствуется простыми объяснениями, не сводит все к какому-то одному основному фактору - будь то заговор или архаическая тяга крестьян к насилию. Он старается понять значение всех элементов головоломки - и для этого мастерски работает на разных временных уровнях одновременно: на уровне большой длительности - крестьянская память; более короткой - голод, нищета; наконец, почти мгновенной - слухи.

Ревель считает, что сама тема, возможно, привлекла Лефевра именно своей сложностью и необычностью, удаленностью от привычных образцов, непохожестью на все типичные и «нормальные» народные движения - это требовало специальных размышлений и комплексных подходов. Особенно Ревель выделяет то, что Лефевр идет как бы двумя путями: он старается поместить событие в контекст (вернее, в целый ряд контекстов разного содержания и хронологии: голод, нищета, страх, ситуация 1789 года - но и методы крестьянской борьбы, способы объединения, информации и т.п.), тем самым вписывая его в серию, которая и придает ему смысл - многое перестает быть странным, становится объяснимым; с другой стороны, напротив, старается ухватить «великий страх» в его уникальности, конкретности - ритме, способах распространения, деталях местных условий, локальных инцидентов и т.п.

В результате он не только смог разбить ряд укоренившихся легенд относительно «великого страха», но и сумел показать, как для крестьян «великий страх» стал случаем испытать чувство солидарности, которое в конечном счете нередко выливалось в действие: когда воображаемая опасность рассеивалась, можно было обратиться против более непосредственного противника.

Ревель считает, что сама тема, возможно, привлекла Лефевра именно своей сложностью и необычностью, удаленностью от привычных образцов, непохожестью на все типичные и «нормальные» народные движения и волнения - это требовало специальных размышлений и комплексных подходов.

Книга Лефевра о «великом страхе» и статья о революционной толпе оказались у истоков целого направления в исторической науке. Прежде всего Ревель называет имена Дж.Рюде и Р.Кобба. Еще одна серия исследований, которые с полным основанием можно «возвести» к «Великому страху», это труды французских и англо-американских историков, занимающихся в последние два-три десятилетия исследованиями массового, коллективного поведения как на уровне «большой длительности», так и на более конкретном и ограниченном материале. Ревель особо выделяет работы Э.П.Томпсона, которые он считает наиболее адекватным продолжением и развитием комплексного подхода Лефевра.

Ревель смотрит на работу Лефевра «из наших дней» и видит в ней то, что было незаметно (или несущественно) для современников Лефевра. Как известно, сегодня для исторической науки характерен своеобразный «возврат к политике». Разумеется, речь идет не о политической истории в прежнем значении; в свете знаний, накопленных гуманитарными науками за последние десятилетия, само понимание сферы политического стало совершенно иным, пространство политики «втягивает» в себя огромные пласты жизни человека и общества. Как простой человек (простые люди) «вступают в политику»? Одну из основных заслуг Томпсона Ревель видит в том, что за конвульсивными голодными бунтами он разглядел логику целой системы коллективных представлений и показал, как самые, казалось бы, стихийные и неконтролируемые коллективные действия творят, хотя и в чуждых нам сегодня формах, пространство политического и политический дискурс. И Лефевр, по убеждению Ревеля, в свое время не случайно избрал объектом своего исследования именно «великий страх»: это позволило ему проследить, как на заре французской революции, в этот решающий момент «коллективного ученичества», на низовом и неприметном уровне, во множестве индивидуальных поступков и действий совершался переход от жестов к словам, от чувств к убеждениям, - т.е. увидеть политику в процессе ее зарождения и становления.

Завершая постановкой этого вопроса свое предисловие, Ревель демонстрирует на примере Лефевра, как подлинно новаторский и творческий научный труд даже через многие годы продолжает работать на переднем крае науки, поворачиваясь неожиданными гранями и отвечая не только на те вопросы, которые автор впрямую ставил перед собой (иногда далеко опережая свое время), но даже на те, которые он, возможно, сознательно не формулировал или формулировал иначе, нежели это делается сегодня.

¹ См. *Февр Л.* Гигантский лживый слух: Великий страх июля 1789 г. - В кн.: *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991.

² См.: *Annales historique, economique et sociale*, 5, 1933. P. 301-304. Любопытно, что о рецензии Февра Ревель не упоминает.

